

Сергей Снегов и Густав Герлинг-Грудзинский: калининградский контекст книги «Иной мир»

Аннотация:

Статья представляет собой опыт сравнительного прочтения книг «Иной мир» Герлинга-Грудзинского и «В середине века» Сергея Снегова. Выявляются общие и индивидуальные признаки поэтики лагерной прозы и мировоззрения авторов двух произведений. Отмечается особая роль традиции и интертекстуальных связей лагерной прозы, в связи с чем анализируемые произведения рассматриваются в едином диалогическом пространстве с творчеством Достоевского, Шаламова, Солженицына.

Ключевые слова:

Герлинг-Грудзинский, Снегов, лагерная проза, документ, традиция, интертекст.

Leonid A. MALTSEV
(Kaliningrad)

Kaliningrad context of the book «A World Apart»: Sergey Snegov and Gustaw Herling-Grudziński

Abstract:

The article represents the experience of a comparative reading of the books «A World Apart» by Herling-Grudziński and «In the Middle of the Century» by Sergey Snegov. The common and individual features of the «camp prose» and the worldviews of the writers have been identified. There has been identified a special role of tradition and intertextual relations of the camp prose, and therefore the works under research have been analyzed in a single dialogical space with the works of Dostoevsky, Shalamov, Solzhenitsyn.

Keywords:

Herling-Grudziński, Snegov, camp prose, document, tradition, intertext.

Книга Густава Герлинга-Грудзиньского «Иной мир. Советские записки», принадлежа польской тюремно-лагерной литературе¹, является художественным документом, сравнимым с произведениями «Архипелаг ГУЛАГ», «Один день Ивана Денисовича» Солженицына и «Колымские рассказы» Шаламова². В литературно-критической публицистике, в «Дневнике, писавшемся ночью» Герлинга-Грудзиньского дается интерпретация этих текстов русской литературы XX в., более того, конструируется историческая вертикаль, позволяющая Герлингу-Грудзиньскому как критику и лагерному «летописцу» провести аналогии лагерной прозы с классикой XIX в. — с документальным романом Достоевского «Записки из Мертвого дома» и даже с книгой путевой прозы Чехова «Остров Сахалин». Однако и в рамках XX в. русские сопоставительные контексты книги «Иной мир» не ограничиваются «диадой» Шаламов — Солженицын.

Сергей Александрович Снегов (1910–1994) — писатель, известный, прежде всего, как классик фантастического жанра. В 1936 г. он был арестован по необоснованному обвинению в контрреволюционной деятельности и отправлен в лагерь, проведя большую часть заключения, а потом и всю ссылку, в Норильске. В 1956 г. судьба привела Сергея Александровича в Калининград, где он написал свои основные книги.

Художественно-документальные произведения, изображающие историческую трагедию XX в. («Норильские рассказы», 1991, и их расширенная версия «В середине века», 1996; автобиографическая «Книга бытия», 2006), были опубликованы только в последние годы жизни и после смерти писателя. Этикетка «писателя-фантаста» заслонила «другого Снегова» — хрониста истории XX в. Потребность «выхода из молчания» (используя метафору Герлинга-Грудзиньского) возникла в нем очень рано, о чем свидетельствует письмо Шаламову от 3 апреля 1962 г.: «В „Новом мире” идет рукопись какого-то Солженицына о лагере — утверждают, что новый Лев Толстой, дай-то Бог! [...]. Я давно задумываю роман в четырех частях о нашей эпохе: 1924–1960 гг. [...]. Пока написал серию рассказов (39–44 гг.) о лагере, дал знакомым, оставил в одном журнале. Но движения — нет. [...]. А так хочется сказать *urbi et orbi* всю правду — суровую, мужественную, по-своему высокую»³.

Книга Снегова «В середине века (В тюрьме и зоне)», опубликованная через два года после смерти писателя, относится, как и «Иной

мир», к автобиографически-мемуарному жанру, дающему ретроспекцию всего тюремно-лагерного пути автора-рассказчика, бывшего в те годы совсем молодым человеком (Снегову на момент приговора было около 26 лет, Герлингу-Грудзиньскому — 21 год). В обоих текстах разворачивается «сюжет» жизненного испытания, которое, несмотря на отрицательный жизненный опыт («Лагерь — отрицательная школа жизни целиком и полностью», — пишет Шаламов в рассказе «Красный крест»⁴), открывает перед автором-рассказчиком перспективу самопознания и познания человеческой природы вообще и, следовательно, способность быть писателем. Восприятие лагерной жизни как «второго рождения» становится онтологическим принципом лагерной прозы. Об этом говорит, например, признание Герлинга-Грудзиньского, который в книге интервью В. Болецкому называет свою работу над «Иным миром» началом пути к большому творчеству: «Когда я писал „Иной мир“, я родился как писатель»⁵. Такой же мотив испытания и «второго рождения» писателя, характерный для сюжета романа испытания (инициации), содержит книга лагерных воспоминаний Снегова «В середине века»: «Я вникал в характеры и судьбы — понемногу и поневоле вырабатывалось то внимание к человеку, какое впоследствии принудило меня уйти из мира физики в художественную литературу»⁶.

Концептуальным мотивом лагерно-автобиографической, мемуарной прозы Герлинга-Грудзиньского и Снегова является «переход», вынужденная обстоятельствами «перемена судьбы» (если использовать формулу Достоевского из «Записок из Мертвого дома»). Герой оказывается в «мертвом доме», становится «мертвым при жизни», для того, чтобы проделать путь от смерти к воскресению. Такое развитие автобиографического героя-повествователя соответствует универсальному «четырёхфазному» процессу, включающему, по наблюдению теоретика литературы В.И. Тюпы, уход из мира живых, пограничное (пороговое, смертельное) испытание, приобретение опыта и возвращение в мир живых⁷. В воспоминаниях Снегова пороговое испытание (столкновение с уголовниками) происходит уже на ранней стадии пребывания в лагере, тогда как в книге Герлинга-Грудзиньского вторая и третья фазы меняются местами: «пограничная ситуация» (голодовка в рассказе «Мука за веру») возникает в конце периода ерцевского заключения, непосредственно перед освобождением.

Эта сюжетно-жанровая модель инициации-испытания («выход» из старого и «вход» в новое состояние) опирается на традицию «Божественной комедии» Данте, поэтому неслучайно авторы лагерной литературы обращаются, прежде всего, к этому прецедентному тексту. В обеих книгах, Снегова и Герлинга-Грудзиньского, это не просто стремление найти точку опоры в традиции, но и попытка ее интерпретировать в соответствии с собственным опытом и с новыми «вызовами» истории. Ссылка на Данте появляется в начале снеговских воспоминаний, в виде настенной надписи в камере: «Двое, по всему — интеллигенты, затеяли настенный спор на философско-тюремную тему: „Не теряй надежды, сюда входящий: ты не один!“ — оптимистически переиначивал Данте первый. „И не радуйся уходящий: тебя не забудут!“ — зловеще откликнулся другой»⁸. В лагерных мемуарах Герлинга-Грудзиньского соответствующая дантовская отсылка приходится на развязку, на момент выхода из лагерного «ада», который, неожиданно для уже многопытного автора, сопровождается открытием нового, прежде незнакомого вида страдания: «Данте не знал, что нет на свете большего страдания, чем переживать счастье на глазах несчастных, есть в присутствии голодных»⁹.

Знаково, что в лагерном мире табуированным является непосредственное выражение счастья, так как ликование по поводу освобождения болезненно отражается в душах других, менее счастливых заключенных. Мы видим, что Герлинг-Грудзиньский знает эту особую этику лагеря, поэтому в момент ухода из Ерцево старается скрыть свои эмоции. В целом, счастье — несчастье в дуалистической картине мира Герлинга-Грудзиньского имеет географическую и, может, даже геополитическую мотивацию. В его представлении, «иной мир», под которым писатель понимает не только ГУЛАГ, но и вообще «отчизну мирового пролетариата» — это мир вне счастья. Только оказавшись на Западе, герой рассказчик заново открывает это состояние (см. концовку книги): «Но теперь за моей спиной были три года свободы, три года на дорогах войны и в боях, три года обычных человеческих чувств: любви, дружбы, доброты...»¹⁰ и т.д.

«Счастье» является весомым словом в лексиконе Снегова и его героев. Пересказывая, словно Шахерезада, некогда прочитанные им романические истории четырем уголовникам и спасая, таким образом, себе жизнь, автор-рассказчик изрекает печальную сентенцию: «Сказка завершается счастливым концом, в жизни нет счастья»¹¹.

Мысль о том, что «в жизни нет счастья» становится рефреном книги: она отзывается эхом в судьбах героев — товарищей по заключению, в их репликах-вздохах (см. показательные с этой точки зрения рассказы «Счастливым днем Тимофея Кольцова», «Король, оказывается, не марьяжный» или, например, стихи, сочиненные автором: «Я жду несчастья, дни мои пусты, / Мне жизнь несла кнуты, а не приветы...»¹²). Однако художественная философия счастья у Снегова имеет не дуалистический, а диалектический характер, соответствующий поговорке «не было бы счастья, да несчастье помогло». Концепт счастья в его лагерной прозе связан со случаем, помогающим избежать худшей участи, с курьезом, анекдотом. Одним из примеров такой «улыбки» судьбы является биография Бориса Львовича Гальперина, не терявшего юмора в трагических ситуациях и признавшегося в шпионаже в пользу... Уругвая, что позволило ему спустя годы, благодаря новому непредвиденному стечению обстоятельств, выйти на свободу¹³. Этот анекдот-быль по-своему символичен для Снегова: та «страна», то «место», с которым связано несчастье героя, волей судьбы может привести к счастью. Не случайно книга «В середине века» завершается не освобождением и уходом героя-рассказчика, а обретением им спутницы жизни, занимающей в снеговской системе литературно-документальных координат место дантовой Беатриче.

Здесь уместно привести контекст солженицынского «Архипелага ГУЛАГ». В начальном рассказе об аресте в Восточной Пруссии приводятся слова бывшего военачальника Солженицына комбрига Травкина: «Желаю вам — счастья — капитан!»¹⁴, которые в контексте дантовой надписи «Оставь надежду» звучат парадоксальным антифразисом. Беспрецедентный жест комбрига (пожатие руки арестованному подчиненному) и пожелание счастья нарушает правила и военной, и лагерной субординации. Возможность счастья при невозможности надежды сближает положение заключенного с символическим образом отчаявшегося Сизифа, которого, по Камю, тем не менее «следует представлять счастливым»¹⁵.

Сходство лагерных текстов продиктовано не какой-либо эксклюзивной жанровой и проблемно-тематической аналогией, а гипертекстовостью лагерной прозы как надавторской и наднациональной художественной системы. Как ни одна другая тематическая категория литературы, лагерная проза примечательна бесконечной повторяемостью явлений и событий, с монотонным сходством описываемых раз-

ными авторами: арест, тюрьма, следствие, приговор, «общие работы» (от которых неотделимо подмечаемое и Герлингом-Грудзинским, и Снеговым жаргонное понятие «туфты»), «досуг», больница, взаимоотношения «политических» с «блатными», побеги, доносы, бунты, заключения в изолятор. Кругооборот одних и тех же событий лучше всего фиксируется в виде распорядка дня, время движется по замкнутому кругу. Герметичность временного цикла соединяется с «могильной замкнутостью пространства»¹⁶, как пишет Л.М. Тимофеев, характеризуя поэтику лагерной прозы Шаламова. Мотив «мертвого дома», «смерти при жизни» отмечает Герлинг-Грудзинский в отзыве на «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына: «я вижу прозаика, который с упорством и яростью долбит твердую, замерзшую, окаменевшую землю, скрывающую прах миллионов замученных и убитых. [...] Для меня, что скрывать, чтение тяжелое: снова иной мир, полузабытый архипелаг усопших, возрождается в памяти»¹⁷.

«Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына есть лагерный гипертекст, летописный «свод», «умноженное» свидетельство истории ГУЛАГа, в котором писатель высказывается не только от своего лица, но и от имени всех заключенных, в том числе тех, «кому не хватило жизни об этом рассказать»¹⁸. «Архипелаг» у Солженицына — это не только панорамный образ лагерной действительности, но и метафора с жанровым значением, гипертекстовый «мы»-интеграл — сумма единичных «я»-воспоминаний заключенных (в том числе авторских воспоминаний). В отличие от «Архипелага» Солженицына, произведения Снегова и Герлинга-Грудзинского обладают индивидуально-линейным стержнем, характерным для художественной автобиографии, а также для «романа воспитания». Эта линейность композиционно осложняется множественными вставными конструкциями, посредством которых ведется рассказ о жизни или об отдельных эпизодах жизни товарищей по несчастью. Обращает на себя внимание, например, тематическое сходство рассказов «Огрызок» Герлинга-Грудзинского и «Жизнь до первой пурги» Снегова, где выявляется специфическая грань взаимоотношений жертв и палачей в ГУЛАГе: в лагере не приветствуется мораль фанатической вседозволенности, нарушение неписаных основ лагерной этики. Снегов формулирует это правило следующим образом: «Чем равнодушной был человек, тем он казался нам человечней. [...] Зато мы дружно ненавидели тех, кто вкладывал в службу душу»¹⁹. Оба текста представляют рассказы о случаях, в ко-

торых «палач» сам стал «жертвой». Разнятся многие обстоятельства двух этих рассказов, но иронический вывод, сделанный в конце вставной истории Герлинга-Грудзиньского вполне применим к духу историко-философских размышлений Снегова: «революция перевернула старый миропорядок. Раньше рабов бросали на пожирание львам, теперь бросают львов на пожирание рабам»²⁰.

Ошибочен взгляд на лагерную прозу как на сферу всепоглощающего документально-статистического метода — одностороннего взгляда на жизнь в лагере сквозь призму фактов и цифр. Эстетический контраст лагерно-бытовой монотонности создает пейзаж, наделенный не только импрессионистической живостью, но и символическим подтекстом. Например, описание момента прибытия заключенного Герлинга-Грудзиньского в лагерь Ерцево Архангельской области: «На побелевшем от мороза небе еще мерцали последние звезды. Казалось, они вот-вот угаснут и непроглядная ночь выплывет из замерзшего леса»²¹. Значимость этой лаконичной северной зарисовки — с одной стороны, в принадлежности лагерному гипертексту, художественно соотносимому с дантовским «Адом» (образ ночи имеет корреляцию с прецедентной надписью на воротах адовых «Оставь надежду»), а с другой, в ночной символике творчества Герлинга-Грудзиньского как единого целого (XX в. как «ночная эпоха», образ автора как «ночного» писателя и смысл названия его итогового произведения «Дневник, писавшийся *ночью*»²² [курсив мой. — Л. М.]). «Ночь» Герлинга-Грудзиньского — это мировоззренческая метафора, отражающая его высокую степень историко-философской тревожности и апокалиптичности. Метафора ночи соотносима с концепцией Бердяева, выдвинувшего в эссе «Новое средневековье» гипотезу о завершении исторического «эона» Нового времени и о начале движения истории в обратном направлении: «Рациональный день новой истории закончился, мы приближаемся к ночи. [...] По всем признакам мы выступили из дневной эпохи и вступили в эпоху ночную»²³. «Ночным» писателем, остро чувствующим исторический регресс XX в. и проблематичность реализации социальной утопии, также был Снегов. Неслучайно название его дебютного романа, опубликованного в 1957 г. на страницах журнала «Новый мир» — «В полярной ночи». Несмотря на приверженность социалистическим и атеистическим идеям, у Снегова были основания уже в юношеских (долагерных) стихотворениях дать выражение эстетическому пиетету перед эпохой Средневековья: «Средневековье / Мне по душе. Мне тьма ясней, чем свет»²⁴.

Однако «ночь», «тьма», «Средневековье» — это только одна (негативная) сторона автобиографической мифологии Снегова. Другая же сторона (позитивная) — это «привязанность к язычеству и тайное собратство с солнцем»²⁵. Солярный автобиографический миф Снегова тесно связан с дантовским предтекстом лагерной прозы. По словам Тимофеева, «в упорядоченном мире „Божественной комедии“ солнце — важная метафора», указывающая на смысловую связь Света и Разума²⁶. И, наоборот, мир «Колымских рассказов» Шаламова есть перевернутый мир «Божественной комедии»: «Если в центре художественного мира Данте Алигьери — Свет Божественного Разума, и мир этот устроен разумно, логично, по справедливости, и Разум торжествует, то в центре художественной системы Шаламова... да, впрочем, есть ли здесь вообще хоть что-нибудь, что можно было бы назвать *центром*, системообразующим началом? Шаламов как бы отбрасывает всё, что предлагает ему в качестве таких *начал* литературная традиция: понятие о Боге, представление о разумном устройстве мира, мечты о социальной справедливости, логику юридического закона...»²⁷.

«Плутоический» миф Шаламова («Плутон, поднявшийся из ада, а не Орфей, спустившийся в ад»²⁸) не разделяется Снеговым, находящим возможность возврата к традиционализму Данте в гелиоцентрическом мифотворчестве и космологическом обосновании идеи счастья. Это наиболее полно проявляется в датируемом концом января 1945 г. эпизоде о том, как герой-рассказчик идет на свидание с солнцем и несколько минут бежит с ним наперегонки. Здесь документально-автобиографический текст Снегова получает фантастическое и символическое измерение: «Мне всегда не хватает солнца. В древности солнцепоклонство было бы мне самой близкой религией»²⁹, — так Снегов начинает свою автобиографическую вставную новеллу. А завершается она выводом, совсем не характерным для лагерной прозы с ее ощущением «могильной замкнутости пространства»: «Но в тот день конца января 1945 года я знал не простую радость, а счастье. Я чувствовал себя всесильным. Ибо я вызвал исчезающее солнце назад, любовался им и позволил потом идти, куда ему назначено»³⁰.

Перспектива, с которой лагерное бытие оценивает Герлинг-Грудинский, ближе «плутоизму» Шаламова. Это свидетельствует о том, что степень пессимизма, мрачности взгляда автора на судьбу индивида и социума в системе ГУЛАГа не является строгой произ-

водной от количества лет, проведенных за колючей проволокой, а также от степени тяжести лагерного существования. Лагерный опыт Герлинга-Грудзиньского — это, скорее, опыт изоляции даже при связанном коллективизме лагеря: «Господи, дай мне одиночество, ибо я ненавижу людей»³¹. «Одиночество», «бунт» и «самоубийство» являются основными экзистенциалами его лагерной прозы. Ключом к феномену Герлинга-Грудзиньского может считаться контрастное наблюдение Солженицына об «удивительной редкости лагерных самоубийств»: «большой перевес самоубийств падает на иностранцев, на западников: для них переход на Архипелаг — это удар оглушительнее, чем для нас; вот они и кончают»³². Хотя развязка книги Герлинга-Грудзиньского о лагере является «оптимистической» (освобождение), мысль о самоубийстве красной нитью проходит через его записки. Кончает жизнь самоубийством Михаил Алексеевич Костылев, предпринимает неудачную попытку самоубийства Наталья Львовна, давшая автору-рассказчику почитать «Записки из Мертвого дома» Достоевского. Из этой книги оба читателя-заключенные извлекают мораль, которую вряд ли вкладывал в «Записки из Мертвого дома» Достоевский: «И чем более жадно я пил из отравленного источника „Записок из Мертвого дома“, тем бóльшую, почти таинственную радость находил в мысли, которая впервые за последний год блеснула у меня в голове, — о самоосвобождении через самоубийство»³³.

В отечественной лагерной прозе так или иначе проявляет себя идея спасительной роли коллектива, толстовская мысль «роевой жизни», являющейся одной из констант традиционной русской культуры. Шаламов в этом отношении — скорее исключение, чем правило. Герлинг-Грудзиньский как представитель польской культуры, естественно, скорее склоняется к полюсу Шаламова, чем к полюсу Солженицына, о чем свидетельствует, например, рассказ-эпигон «Падение Парижа». Здесь приводится исповедь персонажа, еврея из Гродно, под давлением сотрудника НКВД сделавшего ложный донос на четырех немцев. Единственное, о чем просит этот человек, преследуемый угрызениями совести, — произнести слово «Понимаю», в котором автор ему отказывает, поворачиваясь спиной. Этот поступок героя-автора вызвал, в свою очередь, недопонимание польских читателей, смотрящих на данную психологическую коллизию с точки зрения универсальной христианской этики. Для русской (православной) культуры такой когнитивный диссонанс между христианской «мило-

стью к падшим» и гордым индивидуализмом, думается, еще сильнее. В этом контексте особую выразительность приобретают слова Солженицына о Герлинге-Грудзинском (по свидетельству Владимира Максимова): «Отозвался в нем поляк»³⁴, — произнесенные автором «Архипелага ГУЛАГ», правда, по другому поводу.

Несмотря на культурную обособленность заключенного-поляка, текст Герлинга-Грудзинского переплетен с русской лагерной литературой на интертекстуальном уровне. Параллелизм лагерной судьбы, взглядов и художественного творчества Герлинга-Грудзинского и Снегова — один из ярких примеров польско-русского лагерного интертекста.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ *Тихомирова В.Я.* Польская проза о Второй мировой войне в социокультурном контексте. 1989–2000. М., 2004; *Czaplejewicz E.* Polska literatura łagrowa. Warszawa, 1992.
- ² *Хорев В.А.* Польская литература XX века. М., 2009. С. 145.
- ³ *Шаламов В.Т.* Несколько моих жизней. Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела. URL: <https://mybook.ru/author/varlam-tihonovich-shalamov/neskolko-moih-zhiznej-vozpominaniya-zapisnye-knizh/reader/> (дата обращения: 01.05.2018).
- ⁴ *Шаламов В.Т.* Красный крест // *Шаламов В.Т.* Собр. соч. в 4 т. М., 1998. Т. 1. С. 145.
- ⁵ *Herling-Grudziński G., Bolecki W.* Rozmowy w Dragonei. Warszawa, 1997. S. 142. Здесь и далее перевод цитат сделан автором статьи.
- ⁶ *Снегов С.А.* В середине века (В тюрьме и зоне): Сб. рассказов. Калининград, 1996. С. 30.
- ⁷ См. об этом: *Тюна В.И.* Аналитика художественного. М., б/г. С. 58–60. URL: <http://litved.com/docs/Тура-Analitica.pdf> (дата обращения: 01.05.2018).
- ⁸ *Снегов С.А.* В середине века. С. 15.
- ⁹ *Герлинг-Грудзинский Г.* Иной мир. Советские записки. М., 1991. С. 219.
- ¹⁰ Там же. С. 238.
- ¹¹ *Снегов С.А.* В середине века. С. 99.
- ¹² Там же. С. 134.
- ¹³ Там же. С. 440–442.
- ¹⁴ *Солженицын А.И.* Архипелаг ГУЛАГ. Опыт художественного исследования. М., 1990. Т. I–II. С. 30
- ¹⁵ *Камю А.* Соч. в 5 т. Харьков, 1997. Т. 2. С. 102.
- ¹⁶ *Тимофеев Л.М.* Поэтика лагерной прозы. URL: <https://shalamov.ru/research/151/> (дата обращения: 01.05.2018).

-
- ¹⁷ *Herling-Grudziński G.* Pisma zebrane. Dziennik pisany nocą. 1973–1979. Warszawa, 1995. S. 90–91.
- ¹⁸ *Солженицын А.И.* Архипелаг ГУЛАГ. Т. I–II. С. 7.
- ¹⁹ *Снегов С.А.* В середине века. С. 251.
- ²⁰ *Герлинг-Грудзинский Г.* Иной мир. С. 55.
- ²¹ Там же. С. 27.
- ²² См.: *Мальцев Л.А.* Между Россией и Западом: традиция экзистенциализма в творчестве Г. Герлинга-Грудзиньского. Калининград, 2008. С. 42–44.
- ²³ *Бердяев Н.А.* Смысл истории. Новое средневековье. М., 2002. С. 222.
- ²⁴ *Снегов С.А.* Книга бытия. Калининград, 2007. Т. 2. С. 105.
- ²⁵ Там же. Т. 1. С. 15.
- ²⁶ *Тимофеев Л.М.* Поэтика лагерной прозы.
- ²⁷ Там же.
- ²⁸ *Шаламов В.Т.* О прозе // Шаламов В.Т. Собр. соч. в 4 т. С. 365.
- ²⁹ *Снегов С.А.* В середине века. С. 326.
- ³⁰ Там же. С. 328.
- ³¹ *Герлинг-Грудзинский Г.* Иной мир. С. 103.
- ³² *Солженицын А.И.* Архипелаг ГУЛАГ. Т. III–IV. С. 556.
- ³³ *Герлинг-Грудзинский Г.* Иной мир. С. 160.
- ³⁴ Цит. по: *Herling-Grudziński G.* Pisma zebrane. Dziennik pisany nocą. 1993–1996. Warszawa, 1998. S. 368.